

КУПЕЦ И РУСАЛКА



ИРИНА МУРАВЬЕВА

Annotation

Женская любовь часто неподвластна логике. Особенно любовь мертвой женщины...

...Елена Воздвиженская, грубо лишенная девственности, относилась к мужчинам с иронией. Но, познакомившись с лечащим доктором своей матери – импозантным и серьезным Тереховым, – влюбилась без памяти.

Роковые страсти и мистика в декорациях купеческой Москвы начала XX века – это новый сюжет Ирины Муравьевой, выступающей в непривычном жанре нуарного романа. Русалки и черти, богатые геи и революционеры, суфражистки и содержанки – кого только нет в этой феерической книге. И все они трагически связаны друг с другом карнавалом Истории, в которой каждый играет свою роль.

Ирина Муравьева

Купец и русалка

Про купцов известно немного, но кое-что все-таки известно. В частности, до нас дошел факт, что многие купцы очень любили удить рыбу. Обычно они удили рыбу по ночам. Для этого купцы незаметно выкрадывались из дома, переодевались простыми мещанами, брали из конюшни удочку и, сняв сапоги, чтобы они своим скрипом никого не разбудили, шли на Москву-реку. Про Москву-реку тоже не всё известно, потому что в наше время её так загрязнили, что трудно сказать, где берёт она силы и течь, и блеснуть, и легонько волной выкидывать камешек скользкий на берег, однако все знают, что именно в реку и сбрасывали разных женщин. Каких? Ну, чаще всего жен, конечно. Не честных и голубоглазых, а дрянь, забывших про стыд, опозоривших мужа. Но так поступали не только в России. Такое встречается в Англии, в Ялте и реже, но всё же у горных народов. Однако в Москву-реку так же бросали неверных любовниц. Вот это досадно. Любовница ведь потому и любовница, что жаждет любви и как можно скорее. Поэтому может прибегнуть к услугам любого мужчины. За что же топить? Она не котенок, не мышка какая, а женщина с сердцем, умом и талантом. Пускай бы еще пожила, похитрила. Но разве кому объяснишь? Не поймут.

Большинство этих женщин, конечно, сразу захлебывались, тонули и только спустя две недели превращались в русалок, но некоторые умели плавать и поэтому они не только не погибали и не превращались в русалок, а спокойно выбирались на берег и исчезали. Куда исчезали и что было дальше, не знает никто.

Купец по фамилии Хрящев, человек молодой, мешковатый, с мясистым носом и очень вспыльчивый, отчего и дела его шли всё хуже и хуже, увлекся рыбной ловлей до того, что ни одной ночи не мог усидеть дома. Жил он с матушкой, женщиной сильного характера, богобоязненной, и молодой женой Татьяной Поликарповной, полной и рыхлой по причине беременности.

Матушка ложилась спать рано и спала очень крепко, а Татьяна Поликарповна, которую постоянно тошнило, даже и радовалась, что ночами вспыльчивого её мужа Хрящева не бывает дома.

Семнадцатого июля, сняв сапоги, с удочкой на плече и бутылкой водки, купец подошел к воде. На душе у Хрящева было тревожно. Тут я должна сделать небольшое пояснение: очень неверно считать, что всё купеческое сословие сплошь состояло из тех малообразованных и карикатурных лиц, которые выведены в пьесах Островского. Нет, нет и нет. Встречались и в этом сословии люди, весьма романтичные, с воображением, успевшие страстно влюбиться в Париж, всегда чуть покашливающие в платки с такой элегантностью, что и дворяне могли их спокойно принять за своих. Хрящев в Париже не бывал, но в залу к себе на Пречистенку поставил рояль. Велел, чтобы пыль вытирали особой пупырчатой тряпочкой.

Итак: подошел он к реке. Сел прямо на влажный песок. Вздохнул и задумался. Кто знает, о чём он задумался? Тут удочка дернулась. Он не заметил. Хлебнул из бутылки. На второй раз удочка подскочила так высоко, что Хрящев чуть было и сам не упал.

В конце концов вытащил женщину. Красивую, длинноволосую, с заманчивым круглым лицом. На то, что у женщины хвост, а не ноги, купец и внимания не обратил.

– Ну, – сказала она тихим голосом. – Ну, здравствуй, Маркел Авраамович.

– Здравствуй, – ответил Хрящев. – А кто вы такая? Позвольте спросить.

– Замерзла я что-то. – Она усмехнулась. – В воде мы не мерзнем, привыкли. А здесь по ночам у вас зябко.

– Так, ну... – растерялся купец, – так, может, хлебнёте чуток Кардамонной? Хорошее дело.

– Чуток Кардамонной? А что ж тут плохого? – И женщина живо придвинулась ближе. – Давай Кардамонной хлебнём. Пожалуй, что не помешает.

Тут Хрящев заметил сверкающий хвост. Но странное дело: его это не отпугнуло. А может быть, даже и не удивило.

Хлебнувши, русалка размякла.

– А ты не суди. Не суди, Авраамыч, – вздохнула она. – По молодости наглупила, конечно. Ну, это как водится. Ты про Водяного слыхал али нет?

– Да как не слыхать? Им детишек пугают.

– Ах, глупости это. – Она отмахнулась. – Какой там еще Водяной? Нет такого. Чего зря пугать? Детишкам и так в жизни крепко достанется: кого в рядовые забреют, кого...

– Эхма! Золотые слова! – Купец помрачнел. – Сперва сгоряча нарожаем, конечно... А после не знаем, куда их девать.

– Ну, пусть царь решает! – сказала она. – А мы давай выпьем и песню споём.

Хрящев петь любил, но всегда этого стеснялся, хотя мальчишкой пел в Пасху на клиросе. Они еще выпили, калач пополам разломил, заели. Увидели, как над рекой расстилается рассветный туман и в нём, бледно-розовом, одна за другой тают звезды. Русалка положила на плечо Маркела Авраамыча мокрую голову.

– Отвыкла я что-то от ваших обычаев, – вздохнула она.

Пахло от неё речной свежестью, напоминающей запах огуречного лосьона, а то, что Хрящев принял в темноте за серебристую сорочку, оказалось на самом деле её кожей, холодной на ощупь, но нежной и скользкой, как жемчуг.

В купечестве супружескую верность не так часто нарушали, как, например, в дворянском сословии или в среде художников. В дворянском сословии было много сластолюбивых помещиков, которые портили развратными привычками крепостных девушек и безответную прислугу, а были такие, что и покушались на жен своих братьев, друзей и соседей. Про художников дошли слухи, что они вступали в интимную близость с натурщицами и с женщинами лёгкого поведения, которых приличия ради везде представляли как муз. Но самая грязь, самый ужас таились в театрах – больших, малых, оперных и драматических. Об этом сейчас тяжело вспоминать.

Татьяна Поликарповна Хрящева была женщиной очень ранимой и часто падала в обмороки, из которых доктор Иван Андреич выводил её с помощью нюхательного спирта, изредка прибегая к увесистым пощечинам, от чего на бледных щеках Татьяны Поликарповны загорались багровые розы. Мужа своего она, может, и любила, но робкой и тусклой любовью, а тут, забеременев, стала страшиться законных супружеских ласк оттого, что кто-то из странниц или приживалок шепнул ей однажды, как этой вот лаской легко можно даже угробить младенца.

Хрящев не очень, кстати сказать, опечалился, а почти каждую ночь ложился спать в беседке, где ему постилали постель и откуда можно было смотреть на звёзды. Лето в Москве всегда тёплое, и сон в озаренном луною саду намного приятнее и здоровее, чем в спальне, где пахнет засушенной мятой, повсюду разложенной в белых мешочках для предотвращения

ненужных клопов.

Прикосновение к шее его мокрой девичьей головы, нежно пахнувшей огуречным лосьоном, так сильно взбудоражило Маркела Авраамовича, что, не удержавшись, он крепко прижался губами ко лбу, прохладному, скользкому, зеленоватому, и вдруг задрожавшей своею ладонью погладил холодную грудь.

– Ах, так я и знала! – сказала русалка. – Не стыдно тебе? Я ведь нечисть речная.

– Какая ты нечисть? – Купец весь горел. Язык его еле ворочался. – Какая ты нечисть?

Отрада моя!

– Но я без души!

– А на что мне душа?

– Так я и без ног.

– А я буду носить! Возьму тебя на руки и понесу!

Слегка застонав, он схватил её на руки и тут же, не выдержав, рухнул в песок. Через несколько секунд Хрящев убедился в том, что отсутствие ног совсем ничему не препятствует. Всегда эти ноги, особенно толстые, мешают и лезут куда их не просят.

Русалка в любви оказалась такой, что мозг у купца, словно камнем, отшибло. Когда подступил самый жгучий момент, он вдруг закричал, да таким диким голосом, что облако разорвалось пополам. Потом они нежно вздыхали, обнявшись. Русалка опомнилась первой.

– Ну, будет, Маркел Авраамович. Будет. Пора мне обратно в пучину, домой. Прощай, моё сердце.

– В какую пучину? – Купца затрясло. – Да я не пущу тебя в эту пучину!

– А что ты предложишь мне вместо пучины?

– Женюсь на тебе, да и всё!

Русалка холодным серебряным смехом осыпала Хрящева.

– Да ты ведь женатый, Маркел Авраамыч!

Купец замотал головой:

– В монастырь! Супругу отдам в монастырь!

– В какой монастырь её примут, Маркел? Она на сносях ведь, супруга твоя!

– А, верно! Она на сносях. Так куда? Обратно, к отцу, ведь, поди, не захочет!

– Вот то-то оно! – загрустила русалка. – Мужчины всегда так: женюсь да женюсь! А как поразмыслят, так сразу в кусты! Прощайте, неверный Маркел Авраамович.

Тогда он опять подхватил её на руки и всю, даже хвост, облепил поцелуями.

– Постой, погоди! Раз сказал, что женюсь, так, значит, женюсь! Дай обмозговать!

– Домой мне пора, – повторила она, нахмутив свои серебристые брови.

– Какой дом на дне?

– Очень даже хороший. Не хуже, чем ваш. И чем глубже, тем лучше.

– Нет, ты обещаешь, что пойдешь за меня! – взмолился купец. – Так уж я всё устрою.

– Душа у тебя золотая, Маркел. – Она улыбнулась прощальной улыбкой. – Вот ты и лицом неказист, и манерой, а мне было сладко с тобой, ох как сладко!

Скользнула в волну. И, как льдинка, растаяла.

Купец зашел в реку по пояс, не снявши ни мятых порток, ни рубахи.

– Эй, где ты?

Молчала река, равнодушная, сонная. Слегка розовела.

Мамаша и Татьяна Поликарповна сидели в столовой за самоваром, когда стукнула

калитка со стороны сада, и, мокрый, небритый, с воспаленными глазами, ввалился Хрящев. Он был босым, рубаха на груди разодрана, по шее извивалась воспаленная полоса.

– Откуда явились, Маркел Авраамович? – с ехидством спросила мамаша. – Отец ваш, покойник, всегда говорил, что вы для семьи человек ненапористый.

Хрящев махнул рукой и, оставляя на паркете мокрые и грязные следы, прошел к себе в спальню. Татьяна Поликарповна побелела и чуть было не упала, как всегда, в обморок. Матушка со строгостью посмотрела на неё сквозь очки.

– Ну, будет тебе, – прошипела она. – Не время сейчас. Пойди мужа проведай.

– Куда я пойду? Осерчает он, маменька.

– Иди, говорю. Осерчает! А ты с добротой к нему, с женскою хитростью.

Татьяна Поликарповна вытерла губы, блестящие от вишневого варенья, поправила плотный пучок на затылке и тихо зашаркала в спальню. Маркел Авраамович с отчаяньем на обострившемся за ночь лице лежал, как и был, грязный, мокрый, на пышной кровати. Зубами поскрипывал.

– Вы, может быть, чаю хотите попить? – спросила она.

– Благодарствую. Нет, – ответил он коротко.

– Тогда, может, водочки? – Она стушевалась совсем, чуть дышала.

– Вели принести. А закуски не надо.

Хрящев пил две недели. Потом встал, опухший и страшный, напарился в бане, побрился, оделся. Татьяна Поликарповна со страхом увидела из окошка, как муж, блее клоуна в цирке, с лиловым, ввалившимся взглядом, садится в пролётку. На нём был пиджак на английский манер, в руке трость с большим костяным набалдашником. Еще больше испугалась Татьяна Поликарповна, заметив, что вместо привычной фуражки с околышем голову Хрящева прикрывает мягкая фетровая шляпа. И лишь сапоги он надел, как обычно, купеческие, с мягким напуском.

«Куда это он? – подумала бедная. – Чтоб так нарядиться с утра...»

В центральном отделении страховой конторы на Лубянской площади было многолюдно. Очень вошло в моду страхование жизни и имущества: купцы и дворяне гнались за деньгами. А денег, увы, никому не хватало. Рябужинский, например, уж на что богатый человек, а и то без конца перехватывал, весь в долгах сидел. Их было три брата из этой фамилии. Так вот, двое старших копили, а младший, совсем как дворянский бездельник, спускал. Французенку, мадемуазель Энженю, в шампанском купал. Колье подарил в десять тыщ ассигнаций. Потом себе выписал автомобиль. Пунцового цвета. Не то из Люцерна, не то из Берлина. Прохожих давил, носился как бешеный.

Именно этого непутевого младшего брата Рябужинского, одетого с иголочки, благоухающего крепкими английскими духами, и встретил Хрящев на лестнице страховой конторы.

– Маркел Авраамович! Ты! Мон ами! Куда спозаранку?

– Дела у меня. – Купец был угрюмым и неразговорчивым. – Позвольте пройти.

– Проходите, голубчик. А только вы зря со мной так, не по-дружески. Уж я вас, поверьте, весьма понимаю.

– Ну, и понимайте себе на здоровье! Позвольте пройти. Тороплюсь. Не до вас.

– Весь день за то-бо-о-ю, как призрак, хожу-у-у и в дивные о-о-очи со страхом гляжу-у-у! – гнусаво запел Рябужинский, спускаясь по лестнице.

Внезапно он остановился:

– Маркел Авраамович! Вы рыбку удили недавно, я слышал?

Сердце у Хрящева бешено заколотилось.

– Какую, пардон, еще рыбку?

– Какую не знаю. Но слышал, что рыбку.

Рябужинский ускорил шаги и снова запел, постукивая по перилам перстнями:

– Не ходи, краса-а-а-вица, по ночам гу-ля-я-ть!

«Откуда он знает про рыбку? – И Хрящев покрылся горячей испариной. – Ведь не было там никого! Ни души!»

Он вытер ладонями мокрую бороду. Потом попытался на левую руку надеть две перчатки. Не вышло. Он скомкал их, сунул в карман. В глазах потемнело, как перед грозой.

– С ума я схожу, не иначе! – сказал он себе самому и, толкнувши носком сапога дверь в конце коридора, застыл на пороге вместительной комнаты.

В ней оказался щуплый, с серым младенческим пухом на голове старичок, который услужливо, еле слышно попискивая, как мышонок, приподнялся при виде Хрящева.

– Чем могу служить?

– Я, собственно... Короче, желаю... Ну, вы понимаете...

И Хрящев закашлялся.

– Водички, водички... – Седой старичок заплясал над графином. – Попейте водички...

Вот, только из ледника... Весьма освежает...

«Яички, яички, Кузьма уезжает...» – послышалось Хрящеву.

– Я желаю застраховать на крупную сумму денег жизнь своей супруги Хрящевой Татьяны Поликарповны, в девичестве Алексеевой, и жизнь моей матери Хрящевой, Екатерины Ивановны, в девичестве Птицыной, а также мой дом, сад и склады. Короче, имущество.

Он залпом отпил половину стакана. Вода была теплой, немного прокисшей.

– Желаете застраховать от чего-с?

– А можно от разного?

– Можно, конечно. Поскольку бывают, к примеру, пожары. Бывает, что и наводнит целый город. Бывают разбои, набеги противника... Да я вам сейчас покажу! Вы взгляните.

Старичок живо открыл пожелтевшую книгу и начал листать за страницей страницу. На лоб набежали морщинки.

– Смотрите! Мещанка Доронина застраховала жизнь своего мужа, мещанина Доронина Ивана Ильича, вскорости почившего от кратковременного, не опознанного медициной заболевания. Выплата означенной суммы... Да сколько же это? Чернила размазались! Сейчас, погодите. Надену очки...

– Мне нет интереса в мещанке Дорониной. Не стоит вам и затрудняться. – Купец строго кашлянул. – Какую прикажете сумму внести, чтобы соглашение было оформлено?

Седой старичок вдруг немного смутился.

– Зависит от сделки. Обычная сумма: от тысячи до десяти.

– Рублёв? – хрипнул Хрящев.

– Рублёв. Золотых. Чего же еще? Извиняюсь покорно...

– Сейчас нужно будет внести али как?

– Зависит от вашей платежной способности. А также желания. И многие вкладчики, чтобы без риска, сперва вносят меньшие суммы с процентами-с. Весьма незначительные платежи без всякого риска.

– Что значит: без риску? Без риску для денег? – Купец так и впился глазами в лицо смущенного клерка.

– Без всякого риску, – опять повторил старичок. – Ну, ведь как-с? Бывает, что жизнь драгоценного родственника не в срок обрывается, и документы тогда, так сказать, могут расположить...

– Я понял! – вскричал громко Хрящев. – Всё понял! Извольте оформить как можно быстрее! Вношу вам пятьсот золотых!

Сделку оформили за десять минут. При составлении и подписании документов выяснилось, что купец Хрящев пользуется чековой книжкой, что далеко не всем купцам, стойко держащимся старины, было свойственно.

В три часа пополудни распаренный, красный, но в шляпе, надвинутой на перепоясанный складками лоб, герой наш покинул страховое общество «Россия», уютно расположенное в самом сердце Лубянской площади, и пешком отправился к себе на Пречистенку. Решение, созревшее в нём за ночь, походило на помешательство. Не зря, однако, говорят в народе, что, где черт сам не сможет, там бабу пошлёт. А кем же была водяная русалка? Да всё той же бабой, хотя и с хвостом.

Младший из братьев Рябужинских слыл человеком неглупым и, увидев включенного и воспаленного, несмотря на хорошую одежду, Хрящева, сразу понял, в чём дело. Мадемуазель Энженю, один только запах подмышек которой (особенно утром, особенно летом!) полностью лишал молодого Рябужинского самообладания, встретила ему не на заседании Общества любителей российской словесности и даже не в опере. Более того, мадемуазель Энженю понятия не имела, что эта словесность вообще существует. Точно так же не интересовалась она ни историей, ни химией, ни алгеброй, ни геометрией. Не говоря уж о географии. Медициной интересовалась, но только потому, что ей приходилось обращаться к докторам, которые с удовольствием просили мадемуазель освободиться от верхней и нижней одежды и особенно долго и старательно прослушивали её легкие. Изредка с помощью стетоскопа, но чаще всего по старинке: прикладывая свои уши к высокой груди пациентки. Мадемуазель Энженю верила докторам с простодушием, свойственным дочери французского народа, и потому посылала за лучшими из них, почувствовав даже незначительное недомогание. Младший Рябужинский до самой смерти своей так и не смог объяснить, почему он, повеса, бретёр и картежник, от одного взгляда мадемуазель Энженю становился ягнёнком. Потерявши невинность в отрочестве, он менял женщин, ни к кому из них не привязываясь более чем на сутки, но, встретив эту черноглазую, со вздернутым носом и ямочками на бархатных щеках француженку, бросил к её ногам не только что деньги, но даже рассудок. Семья его, состоящая из отца и братьев, солидных, практичных, весьма уважаемых людей, денно и нощно просила Господа Бога вернуть на путь истины Павла Петровича, но то ли батюшка успел порядочно нагрешить, пока собирал своё миллионное богатство, то ли покойная матушка недостаточно помогала бедным и молилась за сирот, но только Господь не внял ни их просьбам, ни даже постам и обетам.

На деньги, которые Павлуша выбрасывал ради того, чтобы вызвать на губах мадемуазель небрежную улыбку, можно было прокормить не только, к примеру, целую африканскую страну, но еще и вооружить её так, чтобы эта страна за пару недель достигла бы полной своей независимости. Он сам понимал, что вот-вот захлебнется, и, словно предчувствуя гибель, дышал полной грудью, ни в чём не отказывая своей сладострастной натуре.

(Недавно, кстати, стало известно, что именно с младшего Рябужинского был списан характер Парфена Рогожина, хотя француженка в романе и уступила место женщине русского происхождения исключительно в силу патриотических задач Достоевского.)

Встретив на лестнице страховой конторы истерзанного и опухшего от двухнедельного пьянства Маркела Авраамовича, Рябужинский быстро смекнул, что Хрящев готов совершить один из тех поступков, которые заканчиваются полным жизненным крахом. Усевшись в своём ярко-пунцовом автомобиле, (Рябужинский управлял заграничной игрушкой сам), он принялся ждать, когда потерявший смысл жизни купец покинет контору. Увидев, как Хрящев, в одной желтой перчатке, взмокший, со съехавшим на сторону галстуком, сначала стоял долго на тротуаре, а после, промакивая той же желтой перчаткой багровый свой лоб, повернул на Пречистенку, он громко присвистнул.

«Фортуны я баловень, вот что. Фортуны! – подумал он быстро. – Богат потому что. А денег не будет, так копи продам. А вот какво человеку простому, со скромным достатком? Погибнет! Как пить дать, погибнет».

Он вспомнил бледное и нежное личико мадемуазель Энженю, на котором его грубые поцелуи почти не оставляли следов, потому что она всякий раз до встречи с любовником густо пудрилась, словно надеялась немедленно забыть о Павле Петровиче после его ухода.

– Эх! Жизнь наша жалкая! Вся под откос! Одно унижение, да! Унижение! – воскликнул баловень фортуны, нажал на педаль, и машина, почти что подпрыгнув на месте, исчезла за церковью Софии Премудрости Божьей.

Последняя посудомойка знала, что хозяин запил. И знала, что это надолго. Поэтому, когда Хрящев, в хорошем пиджаке, шляпе и с тростью, уселся в коляску и тотчас же отбыл, ни маменька, ни Татьяна Поликарповна не могли объяснить, какое такое событие могло подтолкнуть его к этому поступку. Случилось же вот что. Ночью, за несколько часов до этого, пьяный, заросший и жалкий Хрящев был разбужен приходом неизвестного молодого человека, который громко щелкнул замком спальни, убедился, что Татьяна Поликарповна отсутствует, и, подойдя к свалившемуся на ковёр купцу, небрежно толкнул его сильной ногой, обувой в башмак светло-серого цвета.

– А? Что? – замычал купец, пытаясь разлепить красные веки. – Ты как дверь открыл?

– Не тыкайте мне. – Незнакомец обиделся.

– А ты кто такой? У-у-х! Болею я, братец.

– Желаете, может, рассольчику выпить?

– Рассольчику выпить? Давай. Эй! Да кто там?

– Слугу я услад. Мамаша заснули, а ваша супруга, проплакав все глазки, на службу отправились.

– Она разве служит? – И Хрящев икнул.

– Ну, где ей! И в прачки никто не возьмёт. Никчёмная женщина. В церковь пошла. У них там вечерняя служба.

И молодой человек брезгливо скривил невзрачное лицо.

– Какую ты харю противную сделал! – сказал ему Хрящев. – Смотреть неприятно.

– А вы не смотрите. Вам, Маркел Авраамович, до моей хари, как вы выразиться изволили, никакого делу нет. А смотреть нужно на то, что вас лично касается.

– А что меня лично касается? – И Хрящев привстал на ковре.

– Ложись! – вдруг отрывистым басом вскричал посетитель. – Лежать, говорю!

Купец лёг послушно.

– Дела запустил? Отвечай! Запустил? В складах одна плесень? Кедровый лес продал?

– Тоска у меня, – прошептал тихий Хрящев. – Такая тоска. Мочи нет.

– А ей-то, чай, деньги нужны? На кой ты ей сдался без денег, скажи-ка!

Купец привстал снова:

– О ком ты?

– О ком! Али не догадался? Наслышаны мы, что на крюк твой поганый попалася дева одна, из речных. Зимой сиганула с моста и утопла. Искали её, даже лёд продырявили. Но *наши*, на дне, сразу засуетились. Зарыли поглубже в песок, придавили, присыпали камушками. Не всплывешь! *Людские*, конечно: «Ох, ох!» А дальше-то что?

Купец его слушал с большим напряжением.

– А *наши* охочи до женского телу. У них там утопленниц много, побольше, чем мух на навозе. Красивые есть, с аппетитными формами. На сороковой день отрыли твою. Уже, значит, вся почернелая, вязкая, поскольку остались одни телеса, душа-то на небе. Прошло сорок днѐв. Но правило есть: с телом надо проститься. Как сорок днѐв минет, тогда улетай. А в девять и в сорок днѐв – уж извините! Она и спустилась. А мы её цап! Пошли разговоры да переговоры. Она говорит: «Отпустите меня!» А мы ей: «Подумай сперва по-хорошему! Кому ты нужна там? Своих, что ли, мало! Которые померли как полагается? От коклюша, там, али от желчнокаменной? Их в церкви отпели, во гроб положили. А ты ведь чужая, ведь ты беспризорная, твои-то, вон, косточки щуки объели! Тебе еще суд предстоит, разбирательство...» Она, ясно, в слезы. Рыдает стоит.

– Постой! – перебил его Хрящев. – Душа – это дело такое... То есть она, то её вроде и нету. А я никогда даже не попрекну... Жениться хоч. Полюбил я её.

– Да как же жениться, когда ты женат? Купец громко крякнул.

– Развод-то у вас, у *людских*, ведь не принят... – сказал гость задумчиво. –хлопотно это.

– Что значит: у *нас*? Ты откуда сам?

– Оттудова, где все вы вскорости будете.

Купец побелел. Только воздух глотнул. Да так, рот раскрывши, и замер. Тут гость усмехнулся недоброй усмешкой.

– Решай, Авраамыч, она ждать не будет. Её кто поймает, к тому и сбежит. Отродье-то женское, сам, поди, знаешь.

– Так я всё решил. Чего уж там ждать?

– Налички-то нету?

– Налички? – И Хрящев вспотел крупным потом. – Откуда наличка? Вон маменька и за овѐс заплатили.

– Тогда в страховую иди. Дело верное. Супругу страхуй и мамашу для весу. Сейчас тебе выпишу взнос. Должен будешь. Но мне эти деньги не спеху, не бойся. Вернёшь когда сможешь.

– А как я верну?

Его собеседник ушел от ответа:

– Она в гувернантках когда-то была. На двух языках говорит, рыбка наша. Наскучишь ты ей, Авраамыч, боюсь!

– Да что ты пужаешь? Подарков куплю! Вон автомобиль заведу, как у Пашки!

– Куда же с хвостом-то её? Засмеют!

– Тогда я бассейн ей построю хрустальный! Сам видишь, чертяка...

– Ты как отгадал? – насутился гость. – Я вроде одет хорошо, чисто выбрит...

Тут Хрящев осел:

– Так ты... что? Из *этих*? Пстой! Ты ответь!

– Из *этих*! – Гость грустно кивнул. – А то из каких же?

Купец хотел перекреститься, но что-то ему помешало. Легонько погладил ладонью серебряный, оставшийся от прапрапрадеда крест, который носил, никогда не снимая.

Визит закончился тем, что перед самым уходом молодой человек вытащил из кармана хрустящую пачку денег и положил её рядом с Хрящевым, который начал сразу же лихорадочно пересчитывать их и словно забыл обо всем остальном.

Договорившись со слабохарактерным купцом, черт заглянул на пустынный берег Москвы-реки и подал условный знак заранее подкупленной русалке. Когда же она подплыла и высунула из воды свою прилизанную голову с полузакрытыми томными глазами, он грубо сказал:

– Вылезай!

Она глубоко вздохнула, выплеснула на песок тело и в самой непринужденной позе улеглась на песке, поигрывая ожерельем.

– Ты был у него? – спросила она хриплым голосом.

– Да был. Хилый малый. Зачем ты связалась с таким?

– А мне по душе.

– По какой по душе? Ты душу свою уж давно погубила.

Русалка надула белесые губки.

– Бестактный ты, право! Давай хоть покурим.

Черт достал из кармана пачку дамских папирос, сам закурил, дал закурить ей, и пару минут они молчали, наслаждаясь тишиной и полной безнаказанностью.

– Нет, не понимаю я этих *людских*. – Черт сплюнул на камень. – Всё время трясутся от страха. То бок заболит, то нога онемееет, то дочка сбежала, то деньги украли... И каждый ведь знает: помрёшь, и всё кончится. А как им напомнишь про смерть, так дрожат. Уж, кажется, весь поседел, зубы выпали, не видит, не слышит – ну, что тебе жизнь? Ведь это же мука одна! Нет, боюсь! Чего ты боишься? Боюсь да и всё!

Русалка выпустила голубое кольцо дыма из узких своих, розоватых ноздрей.

– Ты любишь стихи?

– Я? Стихи? – И черт покраснел в темноте. – Очень даже люблю.

– Послушай тогда, – попросила она.

*Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть?
Но жаль того огня, что просиял над целым
мирозданьем и в ночь идет, и плачет уходя.*

– Сама сочинила? – спросил живо черт.

– Один из *людских* сочинил. Афанасий. Поганый старик был, как мне говорили.

– Не знал я его. Многих знал, сочинителей, а этого нет. Даже и не слышал.

– Ах, всех не запомнишь! – Русалка приплюснула влажный окурок. – Хорошую новость принёс ты, рогатый. Купец, значит, денежки взял и жену готов ужокошить с младенцем в утробе? Понравилась наша речная любовь!

– Ну, ты уж совсем... «Укокошить»! Кровавая! Тут, можно сказать, человек пропадает... Какой-никакой, а живой человек!

– Придвинься, – сказала она, задышав на черта остатками горького дыма. – «Живой человек», говоришь? Он мужик. А я бы их всех, мужиков этих мерзких, на кол посадила бы всех их живьём, и пусть они медленно, медленно дохнут!

Черт даже отпрянул.

– Ну, ты, мать, люта! Иди тогда в большевики запишись!

Она усмехнулась, куснула травинку.

– А я там уже побывала. И что? Веселое дело идет, молодое! Живые-то нам будут скоро завидовать.

– Куда веселее! – перебил её черт. – Работы прибавится. Это отратно. Хотелось бы мне над матросами встать. Я сам ведь при Цезаре правил флотилией.

– Ой, врешь! Не флотилией и не при Цезаре. А палубу драил у грязных пиратов.

– Так это вначале. А после флотилией.

– Вот ты хоть и черт, а всё врешь, как мужик. Тебя бы я тоже на кол, тощезадый!

– Да что мне твой кол! Мне что кол, что травинка. Не чувствую я ни черта.

И сам усмехнулся на свой каламбур.

Русалка кивнула:

– Да, с этим беда! Подружки зовут у моста тусоваться. «Давай, – говорят, – подразним мужиков! Кого пощекочем, кого заласкаем! Ведь всё-таки жизнь!» А я отвечаю: «Какая там жизнь? Одна суета бестолковая, глупость!» Вот ты не поверишь: забыла, как плачут. Скажи мне: *как* плачут?

– Соленое что-то... Вода вроде с солью... Обиделся вот я недавно на *наших*. Хотелось всплакнуть, аж в груди зачесалось! Я тужился, тужился! И ничего! Сухой я, наверное, внутри, вот в чем дело. А всё-таки лучше тебя. Посердечнее. Вот ты ведь совсем не жалеешь *людских*?

– Совсем не жалею. Кого там жалеть?

– Нет, а я не такой. – И черт пригорюнился. – Мы тоже, пираты, бывало влюблялись... Найдешь себе шлюшку портовую, ладную... С кудрями до пяток. Давно это было... Когда я с флотилией плавал... Давно.

– Короче! – Она закурила. – Наш план?

– Удался, удался! Подбросил деньжонок. Накинулся, аки зверюга какая...

– Всё взял?

– Еще как! Даже не попрощался. Шепнул я на ушко ему, что к тебе с пустыми руками соваться не стоит. Потом ему в душу как следует плюнул. В исподнем сидел, вся душа нараспашку.

– И что?

– Как обычно.

– А разум задел?

– Как только вошёл, так сейчас и задел. Там кожа-то тонкая. Разум с горошину.

Она передернулась:

– Вот ведь: *людские*! Мы хоть не скрываем, какие мы есть. А эти рыдают, стихи у них разные!

– На все сто согласен! *Людские* – говно, прости мой французский. Но ты уж сама разбирайся с купцом. Похоже, парнишка совсем пропадает.

– Туда и дорога, – сказала русалка и дико, во тьме заблестела глазами.

Черт грустно вздохнул:

– Красиво ведь здесь, на земле, хорошо! Никак не привыкну: то утро, то ночь, всё время какое-то разнообразие. Стреляют у них: ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Не то что у нас. Тишина, чернота...

– Ты что говоришь! – Русалка забила хвостом. – У нас все равны! Всем хватает всего! Никто не болеет и не голодает! Какая болезнь, если мы давно померли?

– Да, верно. Я глупость сказал, извини. Саднит меня что-то. Во рту, может, кисло? Луна-то какая! Ты только взгляни! Эх, белой черемухи гроздь душистые! Дай грудку куснуть напоследок! Легонечко!

– Еще чего! Ну, обнаглел ты на воле!

Ударила скользким хвостом по волне. И нет её. Одна серая пена.

Черт еще помедлил на берегу, потоптался, потом аккуратно вытряхнул из башмаков песок, обтёр ладонью босые ступни.

Безотрадная картина вспомнилась ему: вокруг погасшего, но еще сильно дымящегося костра сидят его братья, худые, рогатые. Они не поют песен, не рассказывают друг другу занимательных историй. Даже картошку, и ту не пекут. Уставшие, потные от напряжения, они изредка переругиваются и посылают друг друга на три буквы. Словарный запас у них беден, а злобы много. Перед каждым лежит горячее и окровавленное, тяжело дышащее существо. Оно не имеет определенных очертаний и очень отдаленно напоминает тушу большого морского животного, выброшенного на берег и уже слегка обглоданного по бокам. Несмотря на то что они привычны ко всему и равнодушны, черти притрагиваются к этому существу с опаской и легкой брезгливостью, под которой прячется страх. Им предстоит как можно быстрее расчленив его, потому что окровавленная масса состоит из душ только что умерших людей. Сюда, в темноту, души попадают именно так: слипшись и вжавшись друг в друга. По привычке своей земной жизни они ищут спасения в единстве и общности, еще не поняв, что и здесь, и там каждый отвечает за себя. Подобно осенним опятам на пне, они все росли в одну мякоть. Черти, морщась, ловко орудуя мохнатыми пальцами, и постепенно от этой мякоти отваливается одна, вторая, третья, десятая, сотая душа, которая по той или иной причине не ушла в высоту, когда наступила секунда проститься с использованным телом, а замешкалась и, жалобно постанывая, прижалась к таким, как она, чтобы в конце концов упасть вместе с ними под ноги бесовского воинства.

Работают быстро, свирепо, отчаянно. Все души похожи до боли. При этом все разные. Встречаются очень горячие, от которых бьет током, как от капроновой рубашки, встречаются, наоборот, очень тихие. Черти рассматривают каждую при свете тускло малиновых углей, ощупывают её, звонко хлопывая раскрывшийся в последнем дыхании рот. Душа всегда влажная, словно птенец, упавший на мокрую траву. Дрожит мелкой дрожью. Надежды, однако, никто не теряет. Теперь, когда смерть позади и когда не нужно бояться за жизнь, душа понимает, что там, на земле, вполне можно было бы жить и иначе. Некоторые черти, не лишённые чувства юмора, подбадривают гостей:

– Ну, как тебе тут? Вишь, какая! А думала ведь, что нас нету, наверное? Нет, милая! Вот они мы!

Но души молчат как воды в рот набрали. В аду есть такое поверье: если черт услышит вырвавшееся из души доброе слово, он должен её отпустить. А если услышит какое-то злое,

то участь души незавидна. Поэтому души молчат. Боятся, что скажут не то. Покинув отжившее тело, они вдруг становятся очень стыдливы, и совесть терзает их с первой минуты.

Большинство чертей выполняют свою работу машинально. На свету, лежащемся всегда наискосок – угли сгребаются налево во вспыхивающую горку – заметно, какая душа чего стоит. Прозрачных они отделяют от мутных, а черных от белых. Вот с теми, в которых намешано разного, приходится больше возиться. Но умный и опытный черт с первого взгляду понимает, стоит ли наказывать ту или иную душу или не стоит. Пыткам подвергаются только самые грязные, в которых всё слиплось от слизи. Такая душа остаётся в аду, покуда не вспомнит всю жизнь без остатка. Её часто даже жалеют и в праздник подкармливают сухарями.

Горе тому, кто унюхает кисловатый запах крови. Этого запаха в аду боятся. Не скрывая отвращения, черт встряхивает дурно пахнущую душу, кладёт её рядом с собой и предупреждает товарищей, чтобы никто не наступил на неё своим копытом. Душа принимается ныть и хрипеть. Вползает на фартук рогатого. Прощения просит. Некоторые, однако, истошно кричат, поэтому на них набрасывают черные платки, как на клетки с беспокойными птицами. Те самые крики, которые доносятся до людей в определенных точках земного шара: на Кольском полуострове (еще при советской власти, в начале восьмидесятых) или на Кузбассе – нисколько не выдумка. Да, слышали в скважине крики из ада. Их все записали на плёнку.

Однажды, кстати, случился вот какой казус: один из совсем молоденьких и очень смешливых чертей сообщил, что к нему в лапы попала душа петуха. Сбежались товарищи, стали просить:

– Ну, что ты томишь? Покажи, покажи!

Чёрт с гордостью им показал. Увидели все: да, душа петуха. И выяснили, что петух из Баварии, кухарка зарезала, но сообщила при этом хозяйке, что умер он так же, как христианин. Не крикнул, не пискнул и не испугался, а просто возвёл к небесам мутный взор да с тем и представился. Кухарка при этом сказала, что если Спаситель пришел, чтобы смертью своей грехи искупить у людей, то у кур, конечно же, был их куриный спаситель, поскольку и куры имеют свою куриную душу.

– Так что же? – спросил тогда старый и вдумчивый чёрт. – Теперь нам дрожать всякий раз? А если теперь всё вообще вместе слипнется? Людские, коровьи, куриные, козьи?

Послали запрос, и ответ был получен. «Теперь, – им сказали, – закончилось: *время*. Идут: *времена*. Люди перерождаются. Животные лучше людей. Привыкайте».

Нужно, разумеется, сказать и два слова о нашей русалке. На земле её звали Еленой Антоновной, и она происходила из бедной, но благородной дворянской семьи. Были такие спокойные и достойные семьи в прежние времена. Муж и жена относились друг к другу с нежностью, растили детей в послушании и вере, а если кто-то из детей умирал, и отчаяние, и жалость к милому драгоценному существу разрывали сердце, они обращались за утешением к Богу и старались не роптать, надеясь на то, что здесь, на земле, ничего не кончается, и встреча с умершим случится на небе. Елена Антоновна была младшей в семье Ольги Павловны и Антона Антоновича Вяземских. Брат её Вася погиб в горах незадолго до того, как ей исполнилось четырнадцать. Нелепая смерть. Искал приключений, отправился с приятелем на Кавказ, лазил по горам, сорвался и упал в пропасть. Ольга Павловна, получив извещение о смерти восемнадцатилетнего Васи, не проронила ни слезинки, а словно окаменела. Муж старался вызвать у ней хотя бы слезы, зная, как помогают они в горе, но она

не отвечала ни на его вопросы, ни на просьбы, почти неделю не притрагивалась к еде, изредка только смачивала губы, а на девятый день спросила, нельзя ли поехать туда, в горы, разыскать пропасть, на дне которой лежат останки её мальчика и похоронить их на Ваганькове. Когда муж объяснил ей, что это невозможно, она покорно наклонила голову, ушла в Васину комнату, где зеркало было завешено черным кружевом, и такое же черное кружево было накинуто на фотографический аппарат – Вася увлекался фотографией, – легла на его кровать и заснула. Проспала два дня, испугав этим и мужа, и прислугу, и четырнадцатилетнюю Елену Антоновну, но, проснувшись на третий день, показалась гораздо спокойнее, начала немного разговаривать, обедать вместе со всеми, словно этот глубокий сон был не просто отдыхом, но что-то такое открыл ей, после чего Ольга Павловна нашла в себе силы и возможность жить дальше. Теперь вся её нежность, вся страстная забота сосредоточилась на Лялечке, кудрявой, веселой и хрупкой, которая ничего, кроме радости, не приносила. И, чувствуя, как родители исступленно дорожат ею, сколько любви посылает каждый, даже мимолетно брошенный в её сторону материнский взгляд, как вздрагивает сильная отцовская рука, опущенная на её затылок, когда она вечером приходит в кабинет сказать ему «спокойной ночи», Елена Антоновна изо всех сил старалась не огорчать их, прекрасно училась, не имела ни от мамы, ни от папы никаких секретов и благодарила Бога за то, что он послал ей таких умных и добрых родителей. Страх вызывали у неё только изображения гор. Как на беду в их просторной гостиной, где жарко топилась зимою белоснежная кафельная печь, а мебель была слегка поцарапана собачьими когтями (в доме всегда жили собаки), испокон веков висела копия картины знаменитого немецкого художника Каспара Давида Фридриха. На ней изображен был молодой человек, спиной стоящий к зрителю и слегка опирающийся на трость. Кудрявые русые его волосы развивал свободный ветер. Молодой человек стоял не просто так, не перед магазином каким-нибудь, а на вершине горы, и вокруг него тоже были горы, покрытые туманом и проступающие сквозь него своими сизо-черными острыми вершинами. Ясно было, что под ногами молодого человека открывается пропасть, куда он и может сорваться при всяком неловком движении. Елена Антоновна старалась как можно реже появляться в гостиной, а если ей случалось проходить мимо этой картины, зажмуривалась крепко и пробегала мимо, согнувшись. В конце концов, и Ольге Павловне пришло в голову, что никаких изображений гор им в доме не нужно, и романтического молодого человека переселили в чулан, где он коротал свои дни в паутине. С Васиной смерти миновало полгода. Вечером, шестого января, Елена Антоновна, в синем платье с круглым воротником, белизна которого красиво подчеркивала её раздвоенное от зимнего холода юное лицо и черные тонкие брови над большими, сияющими от радостной молодости глазами, стояла в густой толпе молящихся. Вот-вот должна была наступить минута, когда священник внесет на самую середину храма зажженную свечу и все прихожане запоют вместе с ним:

*Тебе кланится, Солнцу Правды.
И Тебе ведет с высоты Востока.
Господи! Слава Тебе.*

Она ждала этой минуты с сильно и взволнованно стучащим сердцем, горло её пульсировало, руки были горячи, и на прозрачных висках выступили капельки мелкого пота.

Всё было прекрасно вокруг: и мама, сильно похудевшая, гладко причесанная, похожая на девочку от своего горя, и мужественно изменившийся за последнее время отец, весь поседевший и потому кажущийся загорелым, и молодая грустная дама с младенцем на руках, который не плакал, а сосредоточенно озирался вокруг себя, словно понимая, что в такую минуту нельзя плакать, а можно только радоваться. Вдруг она почувствовала очень приятно щекочущее тепло между ногами. словно бы шелковистое насекомое быстро подползло вверх от колен и, достигнув той горячей складки, которую образуют кружевные зубчики панталон, слегка вдавленные во влажную мякоть промежности, замерло, а потом начало сильно и мягко втираться в эту складку, растирать её, щекотать, слегка подергивая за волоски. Елена Антоновна, ничего не понявшая поначалу, ахнула от того, какое сильное физическое удовольствие доставляет ей это непонятное насекомое, осторожно опустила свою левую, свободную от свечи руку и встретила с чужой рукой. Она открыла рот, чтобы закричать, но в это время чужая рука выскользнула, и стоящий вплотную к ней невысокий господин быстро обернулся. Она успела заметить только острый и длинный нос, сощуренные глазки без ресниц и закушенную под усиками нижнюю губу. Он быстро задул её свечу, нырнул под чей-то тяжелый локоть и, растолкав сплоченную толпу, исчез в отворенных дверях. Его проглотил редкий снег.

Елена Антоновна начала падать на спину, чувствуя, что голос священника, затянувшего тропарь, уходит в глубь черной воронки, а свечи погасли.

Ольга Павловна громко, на всю церковь, вскрикнула, заметив, что дочка теряет сознание, вместе с мужем подхватила её под руки и выволокла из душного притвора на воздух. Там ей растерли лицо снегом, и Елена Антоновна пришла в себя.

С этого дня всё изменилось. Каждый предмет в доме и на улице чем-то напоминал ей этого человека с его длинным и тонким носом, каждое прикосновение – будь то край купального полотенца или собственный локон, скользящий по плечу, жуткое, стыдное и столь понравившееся ей поначалу движение его гадких пальцев. Она перестала родителям позволять целовать себя и начала разговаривать с ними сквозь зубы. Учителя в гимназии внушали ей такое отвращение, что она всё чаще и чаще прогуливала уроки и бродила одна по весенним уже улицам, стараясь остаться всеми незамеченной. Однажды в синематографе Елена Антоновна познакомилась с бывшей курсисткой, барышней с коротко остриженными пегими волосами и желтыми от табаку заусеницами. Барышня заговорила с ней приветливо, но совсем не так, как разговаривали остальные. Она быстро выпросила у Елены Антоновны подробности её незатейливого детства, узнала, что не так давно погиб, сорвавшись в кавказскую крепость, брат Вася, стряхнула пепел своей длинной и толстой папиросы прямо на юбку и откровенно спросила у Елены Антоновны, не надоело ли ей жить в этом изувеченном горем отсталом доме. Елена Антоновна ответила, что надоело. Барышня посмотрела на неё близорукими пятнистыми, под цвет своих пегих волос глазами и спросила, потеряла ли Елена Антоновна свою девственность или еще носится с этим никому не нужным сокровищем. Тут Елена Антоновна живо почувствовала поползшие по её коже и забравшиеся в промежность чужие пальцы, разрыдалась и всё рассказала почти незнакомой бывшей курсистке. Та очень глубоко, со змеиным шипением затянулась папиросой, пожала плечами и сообщила, что рыдать, собственно говоря, незачем, потому что поступок неизвестного противен только тем, что был произведен без согласия другой стороны, то есть самой Елены Антоновны. А так ничего страшного не случилось, вполне можно жить и дальше с этим воспоминанием.

– Хорошо бы встретиться с ним, плюнуть ему в рожу, а потом распалить и бросить ни с чем. Это подлецов-мужчин очень злит. Но поскольку встреча уже вряд ли возможна, я вам очень советую обо всем забыть, стать как можно скорее полноценной и свободной женщиной, а главное, уйти из дому, потому что там вам не только никто не поможет, а напротив, родители своей к вам ненужной любовью сделают всё, чтобы вы стали такой же, как они, и полностью погрязли в быту. Быт очень засасывает.

Елена Антоновна почувствовала себя так, словно на плечах её лежала ледяная глыба, и всё тело гнулось и корчилося, а вот сейчас хлынуло яркое солнце, и глыба растаяла. Плечи свободны.

– С мужчинами нужно обращаться или же как с товарищами, то есть считать их равными нам, женщинам, хотя, честно говоря, мы намного выше и сильнее, чем они, – объяснила новая подруга. – Либо нужно использовать их как орудие для своего физического удовольствия. Лично я, честно говоря, – она опять затянулась с шипением, – прекрасно обхожусь и без их помощи, но ни в чем себе не отказываю.

Она выразительно посмотрела на Елену Антоновну своими выпуклыми глазами и неловко усмехнулась. Последнего высказывания Елена Антоновна не поняла, но переспросить не решилась.

Вечером того же дня она попросила у отца денег якобы для помощи неимущим студентам города Твери, и он дал с охотой, увидев в этом благородном желании помочь прежнюю свою отзывчивую девочку, несколько купюр она, замирая от страха, с колотящимся звонко сердцем, вытащила из материнского кошелька, потому что знала, что завтра базарный день и мама пошлет кухарку за покупками, открыла шкатулку, в которой хранились драгоценности, – не Бог весть какие, но всё же, – сунула себе в карман кулончик с изумрудами и мелкими бриллиантами, отцовские золотые часы, материнский браслет с рубином, еще кое-что и утром, прихватив пару платьев, навсегда ушла из дому, не дождавшись, пока родители проснутся. Ольга Павловна увидела на своём подзеркальнике незапечатанное и неоконченное письмо, прочитала первые две строчки и схватилась за сердце, которое стало слабеть, задыхаться и медленно, медленно остановилось. Она успела крикнуть «Антоша!», прибежал муж, поднес к её лицу склянку с нашатырным спиртом, дождался, пока она задышала, открыла глаза, и тут же прочитал письмо.

– Дорогие мои родители! – писала Елена Антоновна. – Я сделала выбор своей жизни, и вам не удастся меня вернуть или уговорить подождать с этим выбором. Дома мне нечего делать. Наш дом пахнет смертью и горем. Вам ничего другого и не остаётся, как доживать в этом доме свой век, но мне, полной сил, молодой и жизнерадостной, нечего больше делать в этом доме. Наши пути разошлись, и вы сами это понимаете. Я никогда не вернусь, потому что глаза мои открылись, а та дорога, которую я себе выбираю, не вызовет вашего одобрения. Мне кажется, что мой поступок закономерен. Если бы вы захотели вернуть меня, вам бы пришлось полностью изменить весь свой уклад и стать такой же, как я: свободной и счастливой. И, главное, вам пришлось бы понять, что основу нашего человеческого существования составляет борьба, но мне кажется, что этого вы никогда не поймете. Папа, деньги, которые ты мне дал вчера, я взяла в долг и постараюсь вернуть их при первой же возможности. Собираюсь зарабатывать на жизнь уроками, а также научусь печатать на машинке. Они не так давно

вошли в моду, и нужда в них очень велика. Кроме того, я...

На этом письмо обрывалось. Ольга Павловна поступила и сейчас ровно так же, как поступила она, получив известие о смерти Васи: пошла в комнату дочери, легла на её кровать, еще слегка пахнущую детским потом и мокрыми от дождя волосами, зажмурилась и крепко заснула. Антон Антонович отворил настежь окно, высунулся по пояс, увидел, как по утренней улице торопятся прохожие, стучат пролетки, явственно представил себе, как он падает, перегнувшись через подоконник, как мозг его растекается по тротуару и люди сначала шарахаются, а потом, повинувшись извечному своему любопытству, окружают его лежащую фигуру, почувствовал, что кислая рвота подступает к самому горлу, захлопнул окно и вернулся в кабинет, где долго сидел неподвижно с застывшей на лице суровой маской.

Став самостоятельной, Елена Антоновна научилась курить, коротко остригла волосы и начала посещать политические кружки молодежи и студентов, которые разрослись по всему городу, как сгустки опят на корягах. В одном из таких кружков она познакомилась с белокурым красавцем, который немедленно её соблазнил и сделал всё это так грубо и гадко, что Елена Антоновна вспылала к мужчинам дикой ненавистью. Подруга её с пятнистыми близорукими глазами объясняла Елене Антоновне, что между мужчиной и женщиной никогда не бывает и не может быть ничего хорошего, но эта физическая любовь необходима каждой из сторон с точки зрения здоровья. Между тем политическая борьба привлекала Елену Антоновну всё больше, поскольку в борьбе много яростной злобы, а именно яростную злобу и вынашивала она в себе, как другие женщины её возраста вынашивают детей. Она ничего не боялась и нисколько не дорожила собственной жизнью. Чем труднее были задания, получаемые от руководства, тем большей злобой и энергией распалаясь её душа. Деньги, вырученные с продажи материнских безделушек, давно закончились, уроками она зарабатывала так мало, что даже на чай не всегда хватало, и Елена Антоновна, по-прежнему презирающая мужчин, сделала над собою усилие и переехала на квартиру, снятую для неё господином Ростовцевым, богатым, не очень красивым, нервным молодым человеком, только что ставшим единственным наследником огромного состояния. Господин Ростовцев давно поддерживал политических противников самодержавия и царизма, захаживал на революционные собрания, где горько и старательно слушал споры, но, главное, очень помогал деньгами, в которых нуждались спорщики. Елена Антоновна ему давно нравилась, он поедал её своими немного косящими грустными глазами, постанывал и похрипывал, но ничего предложить не решался, пока она сама не пришла к простой мысли: чем мучиться от бедности, не лучше ли перейти на содержание этого малоинтересного, но горячо полюбившего её бездельника? Рано утром – только открылись лавочки, и кучера, прокашливая заспанные глотки, начали покрякивать на безответных лошадок – она, бледная от злости, что приходится продаваться за деньги, с горьким комом, застрявшим между нёбом и глоткой, позвонила в дверь Ростовцева. Тот еще почивал, не до конца протрезвев после вчерашнего капустника в новом театре, который тоже поддерживал деньгами. Елена Антоновна, не слушая удивленных восклицаний лакея, прошла по всем комнатам, звонко стуча каблучками, толкнула дверь в спальню, где, выставив голые пятки наружу, посапывал хозяин, села прямо к нему на постель, на атласное, лиловое, с черными и золотыми разводами венецианское одеяло и прямо сказала: «Проснитесь, Ростовцев. Я к вам по делу». Ростовцев испуганно открыл близорукие косящие глаза, смутился настолько, что больно было наблюдать за его смущением, принялся нашаривать очки, потирать небритый

подбородок, приглаживать волосы...

– Хотите ли вы спать со мною? – громко спросила его Елена Антоновна, решивши, что нужно называть вещи своими именами и никогда ни с кем не церемониться. – Если хотите, то я согласна.

Ростовцев, хотя и был самых передовых взглядов, немного растерялся, сделал даже судорожную попытку нырнуть обратно под атласное одеяло, но она так засверкала глазами, так глубоко и страшно задышала в негодовании... Поняв, что любая нерешительность может дорого ему обойтись и эта прелестная, хрупкая, как музейная статуэтка, но сильная характером девушка второй раз не предложит ему такого счастья, он быстро закивал головой, забормотал в восторге, что не только согласен, но жизнью пожертвовать может и всё разорвать, погубить и так далее.

– Мне ни к чему ваша жизнь, Ростовцев, – остановила его Елена Антоновна. – Речь идет не о жизни, а об элементарном удовлетворении половых потребностей. Надеюсь, вы меня понимаете.

Ростовцев даже побледнел от такой прямоты и стал еще некрасивее от этой как будто припудренной бледности.

Вечером Елена Антоновна переехала на квартиру, которую он нанял ей неподалеку от своего дома. Квартира была миниатюрной, но очень уютной, прекрасно обставленной, с кремовыми занавесками и пахла немного цветами. Елена Антоновна презрительно усмехнулась на буржуазное убранство, выкурила две папиросы, чтобы забить слащавый запах цветов, позвонила Ростовцеву по телефону и велела ему «заглянуть». Ростовцев «заглянул». Когда он раздевался в спальне, расстегивал бесконечные пуговицы серого шелкового жилета, вырывался из белой накрахмаленной рубашки, руки у него тряслись от напряжения. Елена Антоновна, босая, длинноногая и невыразимо прекрасная, стояла спиной к нему, наблюдала в зеркале за его торопливыми движениями. Потом они оба легли. Ростовцев притиснул её к себе потными горячими пальцами и чуть было не потерял сознание.

– Ну? – сказала Елена Антоновна.

С этого дня она уже не думала о деньгах. Ростовцев был влюблен, раздавлен и согласен на всё. Больше всего на свете он боялся того, что Елена Антоновна его бросит.

– Если вы убежите, Ляля, – говорил он дрожащими губами и утыкался воспалённым лбом в её грудь, – если вы сделаете это, я не смогу жить.

– Сможете, Ростовцев, – отвечала Елена Антоновна, слегка поглаживая его жидкую шевелюру. – Ваши страхи лежат в области психиатрии. Все могут прекрасно обойтись безо всех. Человек не может жить только без воды и пищи. Это элементарная физиология.

– Но я же люблю вас, – задышался Ростовцев. – Неужели вы этого совсем не чувствуете? Ну, что, что мне сделать, чтобы доказать вам? Хотите венчаться?

Елена Антоновна откидывала голову на высокой, почти прозрачной шее:

– Венчаться? Зачем? Венчаться можно только для того, чтобы вы меня содержали, потому что денег я не зарабатываю. Но ведь вы меня и так содержите.

Ростовцев решил, что это намёк, и перевел на её счет значительную сумму в золотых рублях. Елена Антоновна в первый момент даже удивилась, даже растрогалась немного: этот косоглазый любовник отличался от остальных, всегда хоть сколько-нибудь да прижимистых товарищей, но вскоре шальная бесстыжая мысль начала трепетать в её душе, как бабочка, зажата детская пальцами. Теперь она обеспечена. Не на всю жизнь, конечно, но лет на десять-пятнадцать о деньгах можно не вспоминать. Значит, она свободна. Разжать кулачок и

лететь! Если Ростовцев и в самом деле любит её так сильно, он может подождать, а кто знает, как сложится жизнь? Может быть, она и вернётся к нему, может быть, именно он, с его этой дикой любовью, и даст ей свободу? Свободу Елена Антоновна понимала по-своему: не чувствовать, не вспоминать. Зачем просыпаться в холодном поту, и всё от того, что опять проступает до дрожи знакомая комната – в ней топится печь, а мама сидит в темном кресле и что-то старается произнести? Темно, Елена Антоновна спит, тишина, она молода и здорова. Зачем же, скажите, опять эта комната? Опять эта печка и запах собаки, намокшей под снегом, лохматой собаки?

Через месяц сомнений Елена Антоновна коротко объяснила Ростовцеву, что ей необходимо уехать ненадолго в Швейцарию, потому что этого требует опыт борьбы. Именно там, в Швейцарии, опыт борьбы оттачивается и шлифуется, именно там приводятся в порядок упущенные в русской неразберихе революционные навыки. Через год она вернётся. Ростовцев ничего не ответил, но побледнел так сильно, что она смутилась.

– Пьер, – пробормотала Елена Антоновна, которая никогда не обращалась к нему по имени. – Вы не должны сомневаться в том, что я выполню своё обещание.

– Неважно, неважно! – забормотал он. – Вы совершенно вольны в своих поступках, зачем мне ваши обещания?

– Но мы же друзья, – растерялась она. – Мы любовники! Я не могу переступить через ваши страдания, Пьер, я ведь не железная.

Бог знает, что она говорила! Как это: не железная? Именно железная и никакая другая!

Ростовцев провожал её на вокзале. Когда поезд тронулся и Елена Антоновна увидела его, сгорбившегося, с повисшими от дождя усами, нелепо махавшего ей вслед обеими руками, ей на секунду стало так неуютно, почти страшно, что она чуть было не бросилась к проводнику, чуть было не потребовала, чтобы её выпустили из этого проклятого поезда, но сдержалась, положила ладони на своё пульсирующее горло и досчитала до ста. Это помогло.

В Швейцарии скрывалось значительное количество тех товарищей, которые были наполнены, как казалось Елене Антоновне, непримиримой яростью ко всему существующему, и потому именно там Елена Антоновна рассчитывала встретить близких себе людей. Приехав в Цюрих, она поняла, что ошиблась. Близких людей не случилось, а сам Цюрих был скучен, хотя очень чист, и в кухне, в которой она столовалась, обедали Ленин и Крупская. И Ленин, как ей вспоминалось потом, любил очень жирные свежие сливки. Возьмет себе кофе и льёт в него сливки, пока этот кофе из черного не станет белее, чем облако. В размеренной европейской жизни оказалось много отвратительной сытости, развлечений и пустых разговоров, которые в конце концов так опостытели Елене Антоновне, что она, еще больше похорошевшая, черноглазая, с глубоким и страстным дыханием, вернулась обратно в Москву. В Москве шел пронзительный снег, бабы, закутанные в черные шерстяные платки, торговали с лотков горячими пирожками. Она сообщила Ростовцеву о своём приезде телеграммой и была уверена, что он её встретит. Ростовцева не было. Нехорошее предчувствие сжало ей сердце. Прошло даже меньше года, и вот она вернулась, а он не встретил её! Елена Антоновна, закусив нижнюю губу, взяла извозчика и приехала в ту уютную квартиру, которую привыкла считать своей. На двери висела табличка с незнакомой фамилией. Елена Антоновна совсем растерялась и, не отпустив извозчика, пошла в дворницкую. Дворник был тот же самый, что и год назад. Поигрывая желваками, он очень вежливо, но со скрытой издёвкой в голосе и особенно в маслянистых татарских глазах, сообщил ей, что квартира давно сдана другим жильцам, а барин Петр Александрович

недавно женились и сейчас совершают новообращенное свадебное путешествие. Он так и сказал, негодая: «новообращенное». Никогда она не чувствовала себя столь сильно униженной. А как же любовь, в которой Ростовцев неистово клялся и даже сказал, что умрёт, когда она бросит его? Да, верно, всё верно: нет этой любви. И нет и не будет. Одно половое животное чувство. Ей стало так стыдно от того, что она усомнилась в этой простой истине, — чуть не сгорела от стыда. Не задержавшись в Москве даже на неделю, Елена Антоновна решила, что лучше уйти прямо сразу в народ, как делали прежде, и там искать правды. На самом деле она искала только нового подтверждения для своей ярости и нашла его. Народ оказался испорчен, ленив. Старухи её называли «касаточкой», но дальше порога не звали. Стриженная, в тонких ботиночках, Елена Антоновна не вызывала доверия. Боялись, что может деревню поджечь. К тому же народ был почти всегда занят: косил, молотил, пил сивуху на свадьбах.

Нельзя сказать, что по возвращении на Родину у Елены Антоновны совсем уж не случилось близких отношений с мужчинами. Случались, конечно. И на сеновале, и в курной избе, и в дешевой гостинице. Но теперь она была точно уверена, что делает это исключительно для хорошего мышечного тонуса и усиления кровообращения. Она дорожила и тем, и другим. Надо заметить, что Елена Антоновна начала вдруг и к старости относиться со странной боязнью, как будто к болезни, которой легко заразиться. Не переваривала стариков. Один только запах их, чуть кисловатый, будил в ней тоску. Всякий раз, когда какой-нибудь старик или старуха приближались или — не дай бог! — порывались дотронуться до неё, Елена Антоновна краснела и шарахалась.

В Москве наступила осень, и яркая синева, всё лето блистающая между белыми облаками, сменилась огромным, провисшим, темно-серым животом, из которого денно и ночью шёл дождь. Размыло всю землю и даже сады с большими тяжелыми яблоками. Запах гниющих плодов смешался с печным тёплым дымом, и Елена Антоновна подумывала о том, что, может быть, стоит уехать на недельку-другую в Ялту, погреться там на последнем солнце, отдохнуть от холода и тьмы. Деньги у неё были, а главное, она не должна была ни у кого спрашивать: что захочет, то и сделает. Судьба, однако, распорядилась иначе. Утром двадцать первого октября она получила записочку, написанную очень твердо и внятно:

«Госпожа Вяземская, ваша матушка находится при смерти. Желала бы с вами проститься.

Доктор медицины Григорий Терехов».

Что-то оторвалось в груди Елены Антоновны, когда она увидела это стройное и высокое «Д» в слове «доктор», и сердце внезапно забилось не так, как билось всегда: от злобы, а словно в нём птичка какая-то пискнула, невзрачный и робкий воробышек.

Прошло шесть лет с того дня, когда она последний раз видела своих родителей. Ей казалось, что не шесть лет, а по крайней мере шестьдесят. За все эти годы она старалась как можно реже вспоминать о них, потому что всякое воспоминание вызывало тоску, а иногда даже сердитые слезы, а слез своих Елена Антоновна особенно стыдилась. Записка доктора Терехова испугала её. Но она испугала её не тем, что мать умирает, а тем, что сейчас нужно будет пойти к матери и увидеть её, старуху, наверное, прикованную к постели. Опять, стало быть, эта старость! Она подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя. Чего ей

бояться? Румяна, белая – ну просто царевна из пушкинской сказки! До Сухаревки, где был их дом, можно было дойти пешком за десять-пятнадцать минут, но на беду свою Елена Антоновна забыла зонтик, а начался дождь, и она вымокла насквозь, пока добежала до парадного. Ей открыла молодая незнакомая кухарка, странно-миловидная, несмотря на полноту и коротконогую неуклюжесть, поклонилась, помогла снять жакет и шляпу, и Елена Антоновна снова увидела себя в зеркале. Царевны из сказки в нём не было. Была бледная, испуганная женщина, по обеим сторонам лица которой висели короткие мокрые волосы, а глаза были слишком черными – такими, как будто в них влили чернила. В коридоре тяжело пахло лекарствами, и везде была пыль, видно было, что давно никто не прибирал этот дом, не мыл в нём полов. В гостиной слегка топорщились те же самые голубые с золотом обои, но они выцвели, побелели, и много было на них темных кружков и квадратов, потому что раньше на этих стенах висели дагерротипы и старые гравюры. Точно так же, как в её повторяющемся сне, топилась печь, рядом с которой лежала светло-коричневая, полысевшая по бокам собака. Она сразу же узнала Елену Антоновну, вскочила на короткие, в буграх и наростах от старости лапы, и молча уткнула ей в колени свою короткую морду.

– Здравствуй, – сказала Елена Антоновна, от волнения забывшая, как звали собаку. – Ты узнала меня?

И тут само имя выплыло.

– Здравствуй, Флора.

Собака, завивая хвостом, лизнула мокрую от дождя руку Елены Антоновны, потопталась и вернулась на своё место у печки.

– Кто там? – послышалось из боковой комнаты, в которой прежде был отцовский кабинет, но сейчас именно оттуда и доносился сильнее всего запах лекарств.

Это был голос матери, но такой глухой, надтреснутый и беспомощный, что Елена Антоновна вздрогнула, услышав его. Она поняла, что в записке неизвестного доктора всё было правдой: мать умирала. Ноги её вдруг подкосились, горло запульсировало, ей захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь, не видеть всего этого, не вспоминать. Из бывшего отцовского кабинета вышла горничная, служившая у Вяземских ещё в то время, когда Елена Антоновна была ребенком, приостановилась, загоразивая своею спиной полутьму комнаты, внимательно, с осуждением оглядела гостью и слегка наклонила седую, узкую, как у змеи, голову с желтыми старыми глазами.

– Пожалуйста, – скрипучим голосом выговорила она и посторонилась, пропуская Елену Антоновну.

Высохшая старуха, поджав под себя ноги, лежала на неудобной кушетке, которую в их доме называли прежде «таксой». Она испуганным, детски-беспомощным взглядом встретила Елену Антоновну и тут же заплакала, тоже как-то по-детски, громко и безудержно, как плачут от сильной физической боли. Елена Антоновна вопросительно прошептала:

– Мама?

Тогда старуха робко, словно боясь, что делает что-то неправильно, протянула к ней руку, на которой под вытертой тканью ночной сорочки просвечивала висящая между впалой подмышкой и внутренним сгибом локтя кожа.

– Думала, не увижу тебя, Лялечка, – пробормотала она сквозь плач. – Подойди. Дай я поглажу тебя по головочке. Красивая стала. Как папа покойный. Голубка моя.

Елена Антоновна села на корточки перед материнской кушеткой и спрятала лицо в её одеяле. От пледа, которым были укутаны ноги матери, шел кислотоватый запах увядшего тела,

запах болезни и старости, которого так боялась Елена Антоновна, но сейчас она не только не брезговала им, а напротив, всё сильнее, всё глубже вжималась в робкое материнское тепло и жадно впитывала в себя этот запах родной, самой близкой себе жизни.

[Купить полную версию книги](#)